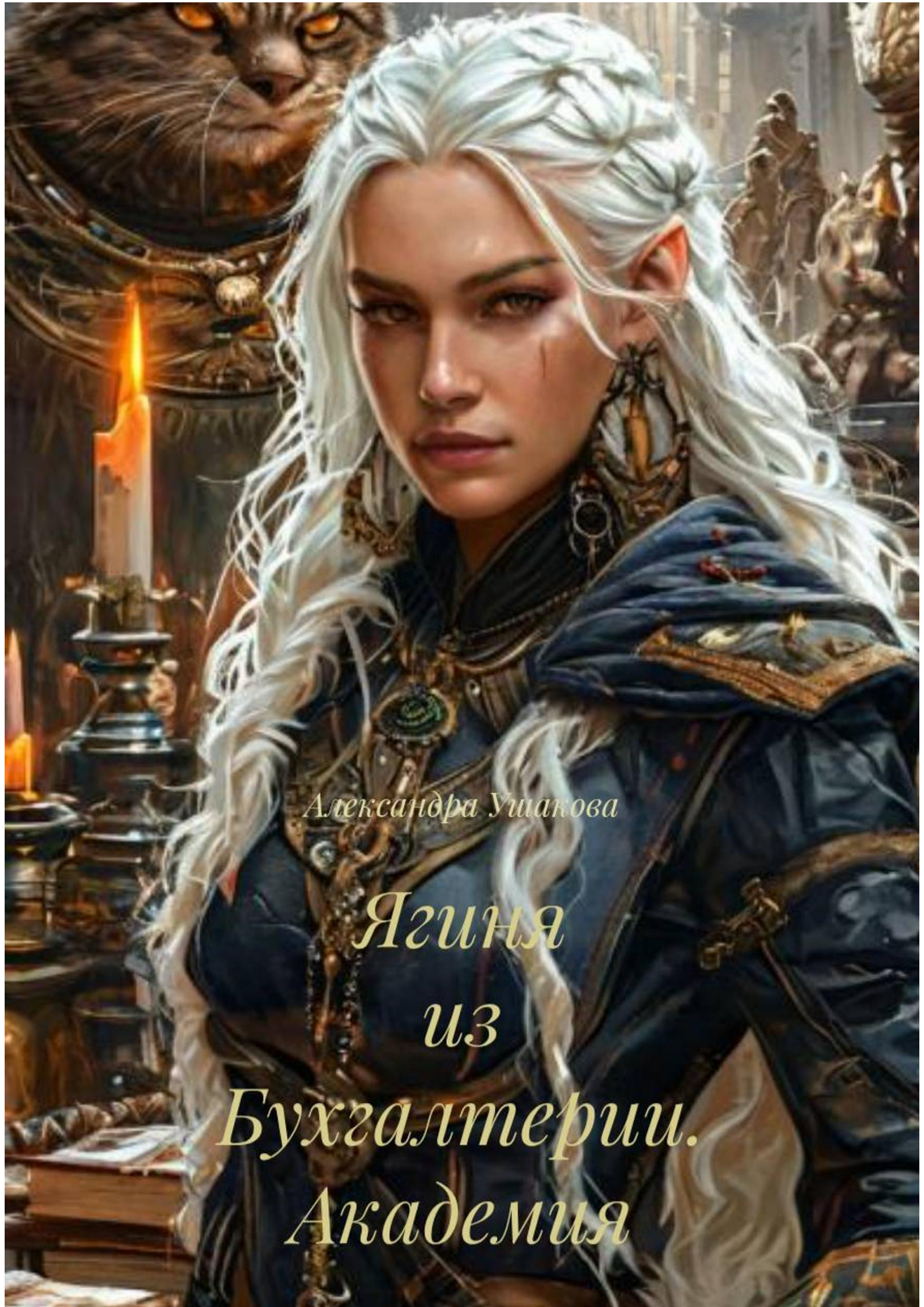




Александра Ушакова

*Ягиня
из
Бухгалтерии.
Академия*

Ягиня из бухгалтерии.

Александра Ушакова

Ягиня из Бухгалтерии. Академия

«Автор»

2026

Ушакова А. А.

Ягиня из Бухгалтерии. Академия / А. А. Ушакова — «Автор», 2026 — (Ягиня из бухгалтерии.)

Из обычной бухгалтерши — в Хозяйку магических законов. Алия Назарова платит за силу белыми волосами и вечным долгом. Её магия — не стихии, а расчёты: она заключает договоры с духами и балансирует счета апокалипсиса. Рядом — Ивс, кот-архивариус, циничный наставник, и Святомир, страж-исполин, чья стальная воля дала трещину. Вместе они выживают в Откате — слоистой реальности, где город помнит СССР, а древние существа ведут холодные войны. Но главная битва — внутри. Как остаться человеком, когда мир рушится? Как любить, когда каждый день — цена за вчера? История о том, что спасение — не в суперсиле, а в принятии боли, долга и чуда домашнего очага. ГДЕ ЭПИЧЕСКОЕ ВСТРЕЧАЕТ БЫТ: ЧАЙ С БЛИНАМИ НА КРАЮ КОНЦА СВЕТА.

Содержание

Пролог. Тень, обретшая форму	5
Глава 1. Первый бал третьего курса	10
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Ягиня из Бухгалтерии. Академия

Пролог. Тень, обретшая форму

Там, где закончилось второе испытание, воцарилась не тишина, а иное, более глубокое безмолвие – та особая, звенящая пустота, которая бывает только в местах, где только что бушевала смерть и где жизнь, отступив, оставила после себя небытие, ещё не успевшее затянуть раны.

Гнездо Жар-Птицы остывало медленно, нехотя, как раскалённая печь, из которой вынули хлебы, но которая ещё долго хранит память об огне. Золотистая смола, плавившаяся под крыльями огненного исполина, твердела, превращаясь в янтарные наплывы, в глубине которых застыли пузырьки воздуха – словно последние вздохи этого места, пойманные в ловушку времени. Пахло здесь теперь не жаром и серой, а горелым камнем, остывшей лавой и той особенной, горькой сладостью, которая остаётся после того, как пожар уходит, оставляя после себя выжженную землю и пепел.

Прах поверженного Леиня смешивался с пеплом от вспышек божественного огня, образуя странный, серебристо-серый налёт на камнях – будто сама смерть этого прекрасного, скорбного существа оставила здесь свою подпись, неразборчивую, но неопровержимую. Ветер, которого здесь не могло быть, потому что гнездо было скрыто в скальной расщелине глубоко над чёрной рекой, тем не менее шевелил этот пепел, собирая его в причудливые узоры, похожие на лица, на буквы, на знаки, которых никто не умел прочесть.

А в центре этого опустошения, не тронутый даже искрами, которые ещё теплились в трещинах камня, лежало тело Яна. Оно было неестественно прямым, как будто кто-то невидимый вытянул его, придав позу покойника, ожидающего погребального обряда. Руки, ещё недавно такие ловкие, такие живые, сейчас лежали вдоль тела, пальцы были разжаты, и только на одном, безымянном пальце левой руки осталась тонкая, бледная полоска – след от кольца, которое он успел снять и бросить Алии в последнем, отчаянном движении умирающей воли.

Лицо его было спокойно. Странно, неестественно спокойно для того, кто умер такой страшной, внезапной смертью. Ледяной кинжал, метко пущенный снежным принцем, сделал своё дело быстро и чисто – пробил грудь насквозь, вошёл между рёбер с хирургической точностью, заставив сердце остановиться прежде, чем боль успела достичь сознания. Глаза Яна были полуоткрыты, и в их застывшем взгляде, устремлённом куда-то вверх, в невидимое отсюда небо, застыло не удивление и не страх, а что-то похожее на недоумение – будто он не мог понять, как это случилось, как такой быстрый, такой неуловимый, как он, мог оказаться здесь, на холодном камне, с дырой в груди, из которой уже не текла кровь, потому что лёд, пронзивший его, заморозил рану быстрее, чем она успела кровоточить.

Вокруг тела, на расстоянии вытянутой руки, камень был чист. Ни капли крови, ни следа борьбы. Только тонкая, едва заметная корка инея, покрывавшая одежду Яна, – последнее прикосновение убийцы, холодное, бездушное, неумолимое.

Но абсолютной пустоты не бывает. Особенно в местах, пропитанных болью, смертью и мощной, неразрешённой магией. Особенно там, где границы между мирами ещё не затянулись, где ткань реальности, разорванная вторжением чуждых сил, зияет, как открытая рана, и где в эти разрывы, как в щели между половицами в старом доме, просачивается то, что живёт в изнанке мира, питаясь его болью и пустотой.

Из тени, что глубже всех других теней в этом мёртвом гнезде, из той самой черноты, что скопилась под скальным выступом, куда не проникал даже отблеск остывающего золота, выползло оно.

Нечто маленькое, чёрное, липкое. Похожее на каплю дёгтя, упавшую на светлый камень, или на живую дыру в реальности – такую маленькую, что её можно было принять за трещину в камне или за обгоревший лист, занесённый сюда неведомо откуда. Но это не был ни камень, ни лист. Это была Жеча. Та самая, что когда-то, в самом начале пути Алии, хотела сожрать весь её сектор, разорвать ткань реальности, обратить в небытие всё, до чего могла дотянуться.

Она была слаба сейчас. Почти ничего не осталось от той, прежней Жечи, что клубилась над разрывом, что тянула свои щупальца к живым, стремясь их отрицать, уничтожить, стереть. Три испытания, три вторжения в чужие реальности, три столкновения с магией, которая не была ей подвластна, иссушили её, выжгли почти дотла. От огромного, пульсирующего чёрного облака, способного накрыть целый квартал, осталась лишь капля – квинтэссенция голода, отрицания и ненависти, сжатая до размеров горошины, но оттого не менее яростная.

Она ползла по камню, оставляя за собой едкий, дымящийся след, похожий на кислоту, которая разъедает всё, к чему прикасается. Камень под ней шипел, покрываясь мелкими трещинами, теряя свою структуру, превращаясь в труху – потому что Жеча отрицала его, отрицала его право быть твёрдым, быть камнем, быть. Она отрицала остывающий жар в воздухе, отрицала золотистую смолу, застывающую в трещинах, отрицала память о битве, о криках, о боли – обо всём, что наполняло это место жизнью.

Её существование было мукой. Не той мукой, которую испытывает живое существо, чувствующее боль. Жеча не чувствовала боли – она была болью. Она была отрицанием, воплощённым в материю, и каждое её движение, каждое мгновение её бытия было актом отрицания самой себя, потому что она не должна была существовать, она была ошибкой, сбоем, трещиной в мире, которая не имела права на жизнь, но жила, и это противоречие жгло её изнутри сильнее любого огня.

Её целью было прекратить всё. Всё и сразу. Вместе с собой. Но для этого нужна была сила. Сила, которую она потеряла в схватках с Алией, с Полуденницей, с Волком-Серым, с той странной, системной магией, что наводила порядок там, где должен был царить хаос. И вот, когда она уже почти иссякла, когда её оставалось так мало, что она могла думать только о том, как бы добраться до ближайшей трещины и упасть в неё, чтобы раствориться в пустоте, из которой пришла, – её «взгляд» (если у бесформенной тени, отрицающей само понятие зрения, может быть взгляд) упал на тело.

На Яна.

Совершенная, целостная, но мёртвая форма. Оболочка, из которой ушла жизнь, но которая ещё хранила отпечаток личности: ловкость разведчика, хитрость, мгновенную реакцию, способность исчезать и появляться там, где её не ждут. Оболочка, лежащая в самом эпицентре мощнейших магических выбросов – жара Жар-Птицы, холода снежных принцев, ярости Святомира, отчаяния Алии. Оболочка, пропитанная остаточной магией, как губка водой, – магией, которую можно было использовать, переработать, превратить в силу.

Жеча замерла. В её простейшем сознании, которое было скорее инстинктом, чем мыслью, боролись два импульса. Отрицать эту форму – она была слишком человеческой, слишком определённой, слишком «чем-то», в то время как суть Жечи была в отрицании всего, что имеет форму и смысл. И уничтожить её, как и всё остальное, – разорвать, стереть, обратить в прах, который потом смешается с другим прахом, и никто не сможет сказать, где было тело, а где камень, где была жизнь, а где смерть.

Но был и третий импульс, самый древний и самый сильный. Голод. Не голод плоти, не голод желудка, а голод бытия – та первобытная, животная потребность существовать, которая сильнее любого отрицания, сильнее любой ненависти, сильнее самой смерти. И чтобы уничтожить эффективнее, чтобы отрицать с большей силой, чтобы стереть этот мир в порошок и развеять его по пустоте... нужно быть. Нужна форма. Нужна сила. Нужна точка приложения, с которой можно давить на реальность, ломать её, гнуть, рвать.

Маленькое чёрное пятно дрогнуло. Оно покачнулось, как капля на листе, готовая упасть, но не решающаяся, и в этом колебании, длившемся всего мгновение, было сосредоточено всё, что осталось от той древней, нечеловеческой воли, что когда-то чуть не уничтожила целый мир. Потом, с отвратительным, чавкающим звуком, напоминающим хлюпанье грязи под ногами или последний вздох утопающего, оно потянулось к ране на груди Яна.

Не чтобы залечить. Не чтобы вернуть жизнь. Жеча не умела давать жизнь – она могла только брать, только отнимать, только отрицать. Она потянулась к ране, чтобы заполнить пустоту, чтобы занять место, которое освободила ушедшая душа, чтобы войти в этот храм, из которого выселился бог, и поселиться там, как скверна, как плесень, как та самая чернота, что прорастает в трещинах старого дома, когда его перестают топить.

Это не было воскрешением. В этом не было ни надежды, ни чуда, ни той светлой, очищающей силы, что возвращает мёртвых к жизни в древних сказаниях. Это было чудовищное, противоестественное действие – акт паразитизма, в котором мертвец становился оболочкой для той, что отрицала само понятие жизни. Жеча вливалась в холодную плоть, в пустые сосуды, где уже не текла кровь, в безмолвный разум, где не было больше мыслей. Она отрицала душу, которая была здесь раньше, отрицала память Яна, его личность, его шутки, его быстроту, его верность товарищам. Но она присваивала форму. Костяк, который можно было двигать. Мышечную память, которая помнила, как бегать, прыгать, исчезать, наносить удар. Остаточные магические следы от кольца-невидимки, от левитации, от сотен мелких хитростей, которые Ян накопил за годы тренировок и боёв.

Пальцы на мёртвой руке дёрнулись.

Это было не то плавное, живое движение, которым Ян, бывало, подкручивал ус или поправлял кольцо на пальце. Это был рывок – резкий, неестественный, как у куклы, которую дёрнули за нитку. Пальцы сжались, разжались, снова сжались, проверяя новую силу, привыкая к новой воле, которая в них вселилась. Кожа на них была всё ещё бледной, холодной, но под ней, в глубине, уже закипало что-то чёрное, что-то, что не было кровью, но двигалось, как кровь, пульсировало, как сердце, хотя сердца больше не было.

Затем дёрнулась рука. Вся, от плеча до кончиков пальцев. Она приподнялась на несколько сантиметров и с глухим стуком упала обратно на камень – тяжело, мертво, но в этом падении уже была не инертность трупa, а целенаправленность, желание проверить, как работает этот механизм, как подчиняется новой воле.

Потом зашевелилось тело. Не плавно, не естественно, а рывками, как у младенца, который учится управлять своими конечностями, но гораздо медленнее, гораздо труднее, потому что тот, кто вселился в это тело, никогда не имел формы, не знал, что такое руки и ноги, не умел дышать лёгкими и видеть глазами. Движения были угловатыми, неестественными, ломаными – будто тело ломали и складывали заново, подбирая нужную позу, нужный угол, нужное положение.

Глаза открылись.

Но в них не было ни удивления, ни боли, ни воспоминаний. Не было того тёплого, живого огонька, который всегда горел в глазах Яна, когда он смотрел на мир с лукавством и любопытством. В них была только пустота – глубокая, бездонная, как колодец, в который не падает свет. И на эту пустоту, как плёнка масла на воде, была натянута тонкая, едва заметная чернота – всепоглощающая, всеотрицающая ненависть, которая не знала ни причины, ни цели, ни границ.

Тело село.

Это было самое трудное движение. Позвоночник хрустнул, мышцы напряглись, не слушаясь, не понимая, что от них требуют. Голова качнулась, упала на грудь, поднялась снова, и в этом кивании было что-то страшное, механическое – будто не живое существо пытается осмотреться, а кукла, которой управляет невидимый кукловод, учит её сидеть, учит быть.

Глаза, эти пустые, чёрные глаза, медленно обвели гнездо. Они не видели в привычном смысле – они сканировали, как сканер, выискивая объекты для отрицания. Камень, который был твёрдым? Нет, он должен быть прахом. Золотистая смола, застывшая в трещинах? Нет, она должна исчезнуть. Пепел, который шевелил ветер? Нет, даже пепла не должно быть, потому что пепел – это память о том, что было, а память – это тоже существование, которое нужно отрицать.

Тело поднялось.

Ноги, не привыкшие ещё держать этот новый вес, подогнулись, и оно упало на колени, ударившись о камень с глухим, влажным стуком. Но оно не почувствовало боли. Оно вообще не чувствовало ничего, кроме голода, кроме жажды отрицания, кроме той слепой, животной ярости, что горела в пустоте его глаз. Оно встало снова. И на этот раз устояло.

Стояло оно странно – неестественно прямо, как солдат в строю, но без той живой, человеческой выправки, которая бывает у воинов. Это была прямота манекена, куклы, вещи, которой придали форму, но не вдохнули жизнь. Руки висели вдоль тела, пальцы были сжаты в кулаки, и в этих кулаках, сжатых с такой силой, что ногти впивались в ладони, не было ярости живого существа, готового к бою. Была только механика – проверка того, на что способно это тело, как сильно можно сжать, как сильно можно ударить.

Язык, который когда-то шутил и отдавал быстрые команды, шевельнулся во рту, пробуя, как он работает. Губы разжались, и из горла вырвался звук – не слово, не крик, а хрип, скрип, какой-то механический, неестественный шум, как будто ржавый механизм пытается проверить шестерёнки. Потом этот шум сложился во что-то, отдалённо напоминающее человеческую речь.

«Нет...»

Голос был голосом Яна, но в нём не было ни его интонаций, ни его смеха, ни той тёплой, человеческой ноты, которая делала его живым. Голос был плоским, мёртвым, пустым – как эхо в пустом зале, как звук камня, падающего в колодезь, как скрип половицы в доме, где никто не живёт.

Это было не отрицание чего-то конкретного. Это была декларация сущности. Манифест того, чем стало это существо. Нет – всему. Нет – жизни, которая была здесь раньше. Нет – теплу, которое остывает в камне. Нет – свету, который пробивается сквозь трещины. Нет – времени, которое течёт. Нет – миру, который существует.

Жеча обрела оболочку. Она стала кем-то. Точнее, стала никем в теле кого-то. Орудием уничтожения, наделённым навыками, ловкостью и физической силой погибшего стража. Она посмотрела на свои новые руки – бледные, холодные, с тонкими, длинными пальцами разведчика, которые умели быть невидимыми, умели скользить по карманам, умели снимать кольцо и надевать его снова быстрее, чем глаз успевал заметить. Она сжала их в кулаки, ощущая незнакомую, но могущественную мышечную силу. Силу, которую можно использовать, чтобы ломать, рвать, отрицать.

Она сделала шаг. Осторожный, неуверенный, как у ребёнка, который учится ходить. Потом другой. Потом третий – уже увереннее, быстрее, потому что тело помнило, как двигаться, даже если воля, которая им управляла, не понимала, что такое движение. Мышечная память делала своё дело: ноги несли её вперёд, руки раскачивались в такт шагам, голова поворачивалась из стороны в сторону, выискивая... что? Добычу? Цель? Или просто проверяя, как работает эта новая, непривычная оболочка?

Где-то далеко, в своём доме, за накрытым столом, с чашкой чая в руке, Алия слушала, как Святомир, стоя на коленях, говорил ей слова, которые она ждала и боялась услышать. Ясный, прикорнувший у её ног, мирно урчал, переваривая украденный блин. Ивс, сидевший в кресле с книгой, делал вид, что не слушает, но уши его были настроены. Ольга хлопотала у печи, и пахло в доме теплом, уютом, безопасностью.

Они думали, что самое страшное позади. Что Ян погиб, что испытания закончены, что враги либо наказаны, либо ушли, либо смиренно ждут решения своей участи в комнатах, которые Ивс предусмотрительно запер на все замки. Они думали, что можно выдохнуть, отдохнуть, залечить раны и начать новую жизнь – ту, в которой не будет больше испытаний на выживание, поединков со смертью, битв с существами, которым нет названия на человеческом языке.

Они даже представить не могли, что их самая первая, казалось бы, побеждённая угроза обрела новую, куда более опасную форму. И что эта форма смотрела теперь на мир глазами их павшего друга, видя в нём лишь мишень для окончательного, тотального отрицания.

Смерть Яна не стала точкой. Она стала запятой. И за этой запятой открывалась новая, ещё более тёмная глава – глава, в которой их врагом станет не чудовище из бездны, не ледяной принц, не древнее божество, а то, что было когда-то их другом, их товарищем, их соратником. И у них не будет выбора – они должны будут встретиться с ним лицом к лицу, с тем, кто носит лицо Яна, но чьи глаза смотрят на них с пустотой, в которой нет ничего, кроме ненависти.

В гнезде Жар-Птицы, высоко над чёрной рекой, тело, которое когда-то принадлежало Яну, развернулось и пошло прочь. Не к выходу, не к лестнице, по которой они взбирались сюда, а к краю обрыва, туда, где скала обрывалась вниз, в темноту, из которой доносился глухой, тяжёлый рёв воды. Оно не боялось высоты. Оно не боялось смерти. Оно вообще ничего не боялось, потому что бояться может только то, что имеет что терять. А у него не было ничего, кроме голода. И голод этот был бездонным.

Оно шагнуло в пустоту, и чёрная река внизу, увидев падающую тень, на миг замолчала, будто признавая в этой тени родственную силу. А потом сомкнула воды над головой, и тело исчезло в глубине, уносимое течением туда, где границы миров истончаются и где его никто не искал.

Потому что те, кто мог его искать, пили чай в тёплом доме и верили, что самое страшное уже позади.

Глава 1. Первый бал третьего курса

Год пролетел незаметно – как вода, текущая между пальцев, как песок в старых часах, которые Ольга заводила каждое утро, бормоча что-то про быстротечность жизни и про то, что «вот опять зима на носу, а ты и оглянуться не успела». Но для Алии этот год был не просто временем, которое уходит и не возвращается. Это было время, наполненное работой, вылазками, учёбой, и каждое его мгновение было весомым, как монета в старой, потёртой кошельке, которую она носила на поясе, когда отправлялась в свой сектор – в тот странный, многослойный Екатеринбург, который был её домом и её ответственностью.

Вылазки в другие миры стали привычными, почти рутинными. Она уже не вздрагивала, когда зеркало в прихожей вместо её отражения показывало лес, полный серебристых берёз, или степь, где ветер гнал сухие перекасти-поле, или подземелье, где камень светился изнутри холодным, голубоватым огнём. Она научилась договариваться с теми, кто жил по ту сторону – с лешими, что требовали дань за право прохода, с водяными, что спорили о границах своих владений, с болотниками, чьи голоса были похожи на хлюпанье грязи и шепот камыша. Она научилась слушать их жалобы, разбирать их споры, находить решения, которые устраивали всех – или, по крайней мере, не оставляли никого в обиде.

Охота на василиска, объявленная в начале года, стала самым опасным из её заданий. Василиск, поселившийся в заброшенных каменоломнях под старым заводом, был не из тех, с кем можно договориться. Он был древним, злым и голодным – тем сочетанием качеств, которое делает любое существо опасным, а магическое – смертоносным вдвойне. Три недели Алиа вместе с отрядом, в который Святомир назначил её ведущей аналитиком, изучала его повадки, его маршруты, его слабые места. Она составляла карты, рисовала схемы, просчитывала вероятности, и в конце концов они нашли способ – не убить его, потому что убить василиска мог только тот, кто смотрит ему в глаза, а смотреть в глаза василиску означало смерть, – а загнать его обратно в ту трещину между мирами, из которой он вышел. Это было сложнее, чем простое убийство, и требовало от Алии не только магии, но и того странного, системного мышления, которое она принесла из своей прошлой жизни: нужно было рассчитать всё до мелочей, чтобы ни один из участников охоты не оказался в опасности.

Когда василиск, шипя и извиваясь, провалился в трещину, и ткань реальности сомкнулась за ним, затянувшись, как затягивается рана, Алиа стояла на краю каменоломни, чувствуя, как дрожат её колени, и сжимала в руке гребень, который держала наготове всё это время. Святомир, стоявший рядом, положил руку ей на плечо – тяжело, по-свойски, и в этом жесте было больше, чем в любых словах.

– Хорошая работа, – сказал он, и его голос, обычно суровый, звучал почти тепло.

– Я просто сделала то, что должна, – ответила она, и это была правда.

Но была и другая правда, которую она не говорила вслух: она сделала это не потому, что должна, а потому что не могла иначе. Потому что если бы василиск остался, он бы убил – может быть, не её, может быть, не сейчас, но убил бы кого-то, кто не умеет защищаться, кто не знает, что в старых каменоломнях живёт смерть. И это знание, эта ответственность, эта невыносимая тяжесть чужой жизни, лежащей на её плечах, была тем, что делало её Стражем – не статусом, не формой, не камнем на запястье, а вот этим, внутренним, непередаваемым.

После василиска были другие задания – менее опасные, но не менее важные. Нужно было проверить границы сектора, которые после зимы дали трещины в трёх местах, и Алиа провела две недели, ползая по сугробам с картой Багиры в руках, отмечая каждую трещину, каждое смещение, каждую аномалию. Нужно было принять нового просителя – старую банши, поселившуюся на чердаке заброшенного дома на окраине, и Алиа ходила к ней три раза, прежде чем та согласилась на договор: тишина в обмен на ежемесячное подношение тёплой воды и

чёрного хлеба. Нужно было разрешить спор между дворовым и банником за право на самый тёплый угол в бане, и Алия, вспомнив уроки Ивса о том, что компромисс – это искусство, а не слабость, предложила им дежурить по очереди, и они согласились, ворча, но без обид.

И среди всего этого – отчёты. Бесконечные, подробные, выверенные до последней запятой отчёты, которые она отправляла в Академию и которые, как она подозревала, изучал не только Багира, но и сама Хозяйка Горы, и, возможно, даже Кощей, чьё имя она теперь произносила с содроганием, вспоминая, как его лицо треснуло под ударом Мороза Ивановича.

Отчёты были её способом держать всё под контролем. Она записывала всё: когда и какой проситель приходил, что просил, чем был оплачен долг, какие тени легли на карту, какие цвета появились, какие исчезли. Она вела свои книги, как когда-то вела бухгалтерию в маленькой фирме, где работала до того, как всё перевернулось, и в этом была странная, успокаивающая системность: если ты можешь записать это, значит, ты можешь это понять. Если ты можешь это понять, значит, ты можешь это контролировать.

Ясный, её рогатый пушистик, за год вырос в огромную, величественную птицу, которая уже не помещалась на плече, но всё равно старалась туда забраться, когда Алия сидела за столом и писала отчёты. Его перья, когда-то жёлтые и пушистые, теперь были гладкими, блестящими, с тёмными, серебристыми прожилками, которые переливались на свету, как иней на зимнем окне. Рожки на голове, бывшие в детстве смешными бугорками, стали острыми, изогнутыми, и в них, когда Ясный сердился, вспыхивали крошечные, едва заметные искры. Глаза его, чёрные и блестящие, как два оникса, смотрели на мир с тем же любопытством, что и в первый день, но в этом любопытстве теперь была глубина – понимание того, что мир не просто красив или страшен, а сложен, многослоен, полон смыслов, которые нужно разгадывать.

Он всё так же урчал – странный, низкий, вибрирующий звук, который Алия научилась различать среди всех прочих шумов дома. Когда он урчал, в его изумрудном горле разгорался мягкий, тёплый свет, и Алия чувствовала, как этот свет проникает в неё, успокаивает, придаёт сил. Ясный стал её талисманом, её защитником, её связью с тем миром, который она оставила, но который всё ещё жил в ней – миром тепла, уюта, простых радостей, которые она когда-то считала потерянными навсегда.

Ивс, как всегда, был рядом. Кот не менялся – всё такой же ворчливый, всё такой же мудрый, всё такой же преданный. Он сидел в своём кресле с книгой, делал вид, что не слушает, когда Алия рассказывала о своих вылазках, а потом комментировал каждую деталь с такой точностью, что становилось ясно: он слушал, и не просто слушал, а анализировал, оценивал, делал выводы. Иногда он говорил: «Правильно сделала», иногда: «Могла бы и лучше», иногда просто молчал, и это молчание было красноречивее любых слов.

Ольга хлопотала у печи, пекла пироги, варила варенье, и в её заботах, в её суете, в её бесконечных «посиди, отдохни, покушай» было что-то такое, что возвращало Алию из мира карт и отчётов обратно, в дом, в тепло, в жизнь. Ольга стала ей больше, чем домовою. Она стала той, кого Алия никогда не имела – матерью, бабушкой, старшей сестрой, всем сразу. И когда Алия, вернувшись после особенно тяжёлого задания, сидела на кухне, уткнувшись лицом в чашку с травяным чаем, а Ольга гладила её по голове и приговаривала: «Всё, всё, родная, отдохни, ты устала, ты всё сделала, теперь отдыхай», – Алия чувствовала, как внутри неё, там, где когда-то была только пустота, разгорается что-то тёплое, живое, настоящее.

И вот – ежегодная делегация Зимы. Бал, который должен был стать кульминацией года, праздником, на котором встречаются миры, обсуждаются договоры, заключаются союзы. Бал, на который Алия должна была идти не просто как ученица, а как Страж, как представитель своего сектора, как лицо той странной, новой силы, которую она представляла.

Сборы, наконец, закончились. Ольга, ворча от сосредоточенности, создала на её голове настоящее архитектурное чудо: тяжёлую, идеальную косу, уложенную короной и закреплённую ободком, который был точной, изящной копией кокошника. Он был сплетён из лунного

серебра, жемчуга, бриллиантов и каких-то иных, незнакомых Алии камней, мерцающих собственным, холодным светом. Камни эти были не просто украшением – они были знаками, символами, посланиями, которые Алия ещё не умела читать до конца, но которые чувствовала кожей, каждой клеточкой своего тела. В них была сила – древняя, холодная, нечеловеческая, и эта сила теперь лежала на её голове, тяжёлая, как корона, и лёгкая, как сон.

Серебряное платье, струящееся, как застывший свет водопада, делало её похожей на ожившую зимнюю звезду. Ткань была не просто серебряной – она была соткана из лунного света и инея, из того особенного, морозного сияния, которое бывает только в ночи перед большим праздником, когда небо чисто, а звёзды так ярки, что кажется – до них можно дотянуться рукой. Когда Алия двигалась, платье шелестело, и в этом шелесте было что-то от падающего снега, от хруста льда под ногами, от той тихой, торжественной музыки, которую играет зима, когда никто не слышит.

Ивс кружил вокруг, не скрывая одобрения. Он надел свой парадный монокль – тот самый, который появлялся только в самых торжественных случаях, – и его шерсть, обычно слегка взъерошенная, была сегодня приглажена и расчёсана до такой степени, что казалась не шерстью, а дорогим, старинным бархатом.

– Хороша! Ох, как хороша! – приговаривал он, обходя Алию по кругу и придирчиво осматривая каждую складку, каждый завиток причёски, каждый камень в ободке. – Прямо скажем, из гусеницы в райскую птицу! Только смотри, не расправляй крылья слишком широко – могут подрезать. На таких балах, знаешь ли, не только танцуют, но и интриги плетут, и союзы заключают, и врагов наживают. Будь внимательна, слушай больше, чем говори, смотри больше, чем слушаешь, и помни: каждый твой жест, каждый взгляд, каждое слово будут иметь значение. Ты – не просто девушка на балу, Алия. Ты – Страж. Ты – лицо Хозяйки Горы в этом зале. Ты – знак того, что её власть распространяется даже на такие, казалось бы, далёкие от камня сферы, как дипломатия и светские рауты.

Алия смотрела на своё отражение в высоком зеркале, которое Ольга специально для этого случая протёрла до зеркального блеска, и понимала: сегодня она – не просто ученица. Она – знак. Знак внимания Хозяйки Медной Горы, представитель своей Академии и, нравится ей это или нет, лицо своего странного, полузаброшенного сектора. Её статус, подчёркнутый этим нарядом, будет её щитом и мишенью одновременно.

В отражении на неё смотрела не та Алия, что когда-то сидела в маленькой квартире и считала чужие деньги, мечтая стать незаметной, раствориться в серой, безликой толпе. Это была другая Алия – с белыми волосами, уложенными в тяжёлую, торжественную причёску, с глазами, в которых больше не было страха, а была тихая, спокойная уверенность, с лицом, привыкшим принимать решения и нести за них ответственность. Платье, серебряное и струящееся, делало её похожей на королеву из старых сказаний – ту, что не просит, а требует, не ждёт, а берёт, не боится, а идёт вперёд.

– Ты готова? – спросил Ивс, и в его голосе не было обычной ворчливости, только тихая, спокойная серьёзность.

– Готова, – ответила Алия, и это было правдой. Насколько вообще можно быть готовой к тому, что ждёт тебя в зале, где собираются силы, старше, чем все академии мира вместе взятые.

Она отступила от зеркала и подошла к той самой картине – порталу в Академию, который за год стал для неё таким же привычным, как входная дверь. Это была старинная, потускневшая от времени картина в тяжёлой, резной раме – зимний пейзаж, написанный так искусно, что, казалось, снег на ней вот-вот начнёт таять, а деревья – шевелиться под ветром. Но сегодня, когда Алия подошла к ней, картина показалась ей иной – глубже, насыщеннее, словно кто-то невидимый добавил в краски новые оттенки, сделал их ярче, живее, значительнее.

Мысль о переходе заставила её внутренне содрогнуться. Не от страха – она уже привыкла к зеркалам и картинам, к тому, как мир расплывается и собирается заново, к тому, как воздух

меняет вкус, а краски – насыщенность. А от предчувствия. От того странного, сосущего чувства под ложечкой, которое появлялось у неё перед каждым важным событием и которое она научилась не игнорировать, а слушать, как слушают шёпот трав или голоса просителей.

Ивс, сидевший у её ног, поднял голову и встретился с ней взглядом. В его разноцветных глазах – золотистом и зелёном – она увидела то, что искала: спокойствие, уверенность, и ту тихую, ничем не измеримую поддержку, которую он дарил ей с первого дня их знакомства.

– Нет, не встретишь, – уверенно сказал кот, как будто прочитав её мысли. Он протирал внезапно появившийся у него в лапе монокль, разглядывая её причёску с видом знатока, оценивающего дорогую вещь. – Сейчас ты под защитой. Ты – активный игрок на доске, а не потерянная душа на перепутье. Ей сейчас смотреть на тебя неинтересно. У неё другие заботы – договоры, границы, та зима, что не хочет уступать весне, и весна, что не хочет ждать. Ну, иди. Мы ждём тебя дома. Помни об этом.

Его слова стали последним, твёрдым напутствием. Алия глубоко вздохнула, ощущая, как серебряная ткань платья облегает её тело, как тяжёлый ободок давит на виски, как каменный цветок на запястье пульсирует в такт сердцу. Она шагнула в картину.

Переход был похож на путь сквозь сердцевину алмаза – ослепительно, морозно и очень тихо. Краски мира расплылись, смешались, превратились в сплошное, сияющее белое пятно, в котором не было ни форм, ни очертаний, ни границ. Алия чувствовала, как её тело теряет вес, как она становится невесомой, как время вокруг неё замедляется, останавливается, а потом начинает течь в обратную сторону – медленно, тягуче, как патока в холодный день. Воздух пах снежной чистотой и тем особым, резким солнцем, что светит только в лютые морозы, когда небо становится таким высоким и таким прозрачным, что, кажется, можно увидеть звёзды даже днём.

Её вынесло в зал, от которого перехватило дыхание.

Это был не тот зал, где проходили балы раньше. Зимний дворец Академии – так называли его в те дни, когда сюда приходила делегация Зимы, – был преображён до неузнаваемости. Белоснежные колонны, уходящие ввысь, в полумрак, где терялись своды, были обвиты гирляндами из живых еловых ветвей, которые пахли смолой и морозом, и в их хвое, усыпанной инеем, мерцали огоньки – не электрические, а живые, холодные, похожие на светлячков, но северных, зимних, тех, что светят только в самую долгую ночь в году. Мраморный пол с прожилками настоящего золота был затянут коврами – тёмно-синими, с серебряной вышивкой, изображающей созвездия, которые, казалось, двигались, когда на них падал свет, перетекая с места на место, складываясь в новые, неведомые узоры.

В центре зала, там, где обычно стояли столы для пиров, был устроен каток – ровная, зеркальная поверхность льда, которая искрилась и переливалась, отражая огни люстр и мерцание звёзд на коврах. Лёд был не простым – он был магическим, сотканным из самой сути зимы, из того первозданного холода, что рождается где-то в сердце ледников, где не ступала нога человека и где время течёт иначе, медленнее, тяжелее. Когда Алия ступила на него, она почувствовала, как холод пронзает подошвы её туфель, но не обжигает, а ласкает, приглашает танцевать, скользить, кружиться в том бесконечном, завораживающем танце, который танцует сама зима, когда никто не видит.

Гости, ученики, преподаватели стояли по обе стороны от невысокого, но массивного трона из морёного дуба и слоновой кости, который был установлен на возвышении в дальнем конце зала. Трон был украшен резьбой, изображающей сцены из зимней жизни: охоту на белых медведей, пляску снежных духов, битву морозов с весенними ручьями, и в каждой фигуре, в каждом завитке была та особая, скандинавская суровость, которая не знает полутонов.

Алия, собрав всю свою волю, прошла по золотому пути, который открылся перед ней, когда она ступила на лёд. Путь был узким, всего в ладонь шириной, но вёл прямо к трибуне, где стояли студенты её боевого класса. Она шла медленно, с достоинством, которое она откуда-то

извлекла из самых глубин, и чувствовала, как взгляды сотен существ – людей и нелюдей, духов и магов, гостей из дальних миров и обитателей Академии – устремлены на неё, оценивают, взвешивают, сравнивают.

Она встала в ряды своего боевого класса. Парни, увидев её, замерли, а потом начали судорожно поправлять галстуки, манжеты, приглаживать волосы. Их строгие чёрные костюмы, которые ещё минуту назад казались им верхом элегантности, на её фоне внезапно выглядели простой, небрежной униформой – такой же, в какой они ходили на тренировки, в какой сражались с василисками и лешими, в какой привыкли быть незаметными, сливаться с толпой. Алия видела, как они смотрят на неё – с удивлением, с восхищением, с той особенной, мужской растерянностью, которая бывает, когда привычная, знакомая девушка вдруг превращается в нечто иное, далёкое, недостижимое.

Рядом, как скала, высился Святомир. Он был в парадном мундире цвета тёмной стали, с нашитыми на груди знаками отличия, о которых она ничего не знала, но которые, как она подозревала, означали не просто звания, а победы, битвы, раны, полученные на границах миров, которые он охранял веками. Мундир был безупречен – каждая пуговица начищена до блеска, каждый шов выверен, каждая складка на месте, – но Алия заметила, как непривычно он сидит на Святомире, будто он чувствовал себя в нём не в своей шкуре, будто предпочёл бы свою обычную, походную одежду, в которой можно и бегать, и драться, и падать, не боясь испачкаться.

Его взгляд скользнул по ней – быстрый, профессиональный, оценивающий. Он осмотрел её платье, причёску, украшения, и в этом взгляде, который, казалось, видел не красоту, а боевую готовность, Алия на мгновение почувствовала себя не девушкой на балу, а солдатом на смотре. Но потом в его глазах мелькнула искра чего-то иного. Не удивления – Святомир редко удивлялся, – а признания. Того самого, которое она искала и боялась найти, которое жгло её изнутри, когда он был рядом, и оставляло пустоту, когда он уходил.

– Вам идёт, – сказал он тихо, не глядя прямо на неё, и его голос, низкий, спокойный, прозвучал так, будто он делал ей комплимент против своей воли, будто слова вырвались сами, помимо его желания. – Выглядите... соответственно событию.

– Спасибо, – едва выдохнула она, чувствуя, как жар разливается от лица по всему телу, странно контрастируя с холодным шёлком платья, который ещё минуту назад казался ей ледяным, а теперь стал тёплым, почти обжигающим.

Пока они обменивались этим шёпотом, зал затих. Огромное зеркало в глубине, служившее парадным входом, заколебалось, и его поверхность стала похожа на плёнку льда на воде – тонкую, прозрачную, готовую вот-вот лопнуть. По этой плёнке пробежали трещины – не хаотичные, а ровные, геометрические, складывающиеся в узор, похожий на снежинку, и Алия, глядя на этот узор, почувствовала, как её дыхание перехватывает от того холодного, нечеловеческого совершенства, которое в нём было.

Сначала вышел Он.

Мужчина-гора, похожий на ожившего лесного духа, принявшего человеческую форму. Он был огромен – не просто высок, а огромен, как деревья, что растут на северных склонах Урала, как скалы, что стоят на берегах Белого моря. Белая, как иней, борода спускалась до пояса, и в ней, когда он двигался, вспыхивали и гасли крошечные, ледяные искры. Шуба из белого медведя, тяжёлая, меховая, лежала на его плечах, как на медведе, и каждый волосок на этой шубе был отдельной, живой снежинкой, сложной, хрупкой, неповторимой. В руке он держал посох, больше напоминающий дубину, – корявый, грубый, из дерева, которое помнило ещё те времена, когда зима была не временем года, а божеством, требующим жертв и поклонения.

Мороз Иваныч. Так называли его в Академии, когда говорили о нём с уважением и страхом. Он окинул зал добродушным, но зорким взглядом – тем самым взглядом, который видел не лица, а сути, не одежды, а намерения, не улыбки, а истинные чувства. И, найдя то, что искал, он протянул руку к зеркалу.

Оттуда вытянулась рука – женская, белая, как первый снег, с длинными, изящными пальцами и прозрачными, словно ледяными, ногтями, в которых, когда на них падал свет, вспыхивали и гасли радужные отблески. Рука легла в его ладонь, и из зеркала вышла сама Госпожа Зима.

Она была высока, худа, с лицом, высеченным из векового льда, строгим и неумолимым. Её глаза были синими, как глубина ледникового озера, – такими синими, что, глядя в них, можно было забыть о всех других цветах, о тепле, о жизни, о том, что существует что-то, кроме этого холодного, бесконечного совершенства. Её платье было соткано из самой зимы – из метелей и вьюг, из снежных бурь и ледяных дождей, из всего того, что составляет её суть, её власть, её неумолимую, прекрасную силу. Когда она двигалась, платье шелестело, и в этом шелесте слышались голоса – тысячи голосов, мёрзнувших в сугробах, замерзающих в ледяных пустынях, теряющих надежду на тепло, но не теряющих веры в её, Зимы, неизбежное, очищающее величие.

За ней, словно отражение молодой луны в этом льду, появилась дочь. Девушка в серебряном костюме, похожем на лунную дорожку на снегу, с синей, как всполох полярного сияния, лентой в белёсых волосах, которые струились по плечам, как водопад из инея. Лицо её было идеально-кукольным, холодно-прекрасным, лишённым каких-либо тёплых эмоций – таким лицом обладают статуи в старых парках, когда смотришь на них в сумерках и не можешь понять, живое это или нет, дышит оно или просто кажется, что дышит. Она двигалась с лёгкостью, которая была не лёгкостью живого существа, а лёгкостью снежинки, падающей с неба, – невесомо, плавно, неизбежно.

Следом, тяжело ступая, вошли трое молодых мужчин – крепких, как северные медведи, с глазами, полными молчаливого вызова. Они были одеты в белые, подчёркнуто элегантные костюмы, расшитые серебряной нитью, словно морозными узорами, и в каждом их движении, в каждом взгляде, в каждом повороте головы была та особая, хищная грация, которая бывает у зверей, привыкших быть на вершине пищевой цепи.

Начался церемониал: приветствия, обмен любезностями, представления. Голоса звучали гулко, торжественно, и каждое слово падало в тишину, как капля в стоячую воду, – медленно, тяжело, неотвратимо. Хозяйка Медной Горы, восседавшая на своём троне из чёрного мрамора, приветствовала гостей короткой, но весомой речью, в которой было всё: и уважение к древнему союзу, и напоминание о границах, которые нельзя нарушать, и тонкий, едва уловимый намёк на то, что камни помнят дольше, чем лёд, и что терпение гор не безгранично.

Мороз Иваныч отвечал ей тем же – добродушно, но с той холодной, северной прямоотой, которая не терпит обиняков. Он говорил о зиме, которая приходит вовремя, о морозах, которые крепчают, когда нужно, о снегах, которые укрывают землю, давая ей отдохнуть и набраться сил. Он говорил о мире, но в его словах слышалась угроза – та самая, древняя, невысказанная угроза зимы, которая всегда может стать суровее, дольше, беспощаднее, если её не уважать.

Но Алия почти не слышала слов. Её внимание, против её воли, приковала девушка Зимы. Та, едва закончив формальный поклон в сторону Триумvirата, повернула голову. И её ледяной, безразличный взгляд нашёл Святомира. И задержался.

В этом взгляде не было ни удивления, ни тепла. Было холодное, почти собственническое любопытство. Так смотрят на интересный трофей, который хотят приручить или заполучить. На сильного зверя, которого нужно обойти, утомить, загнать. На человека, который, сам того не зная, уже стал частью чьей-то игры.

Алия почувствовала, как что-то холодное и тяжёлое опускается у неё внутри, напрочь вытесняя предыдущий жар. Это была не ревность в простом смысле – не то жгучее, липкое чувство, которое она иногда читала в книгах и которое казалось ей чуждым, непонятым. Это было осознание: она стоит здесь, в этом невероятном платье, которое Хозяйка Горы прислала ей специально для этого вечера, а этот ледяной цветок смотрит сквозь неё, как через стекло,

видя только того, кого она сама с таким трудом училась не замечать. И в этом взгляде читалась давняя история, о которой Алия ничего не знала, – история встреч и расставаний, договоров и обязательств, той сложной, многослойной дипломатии, которая связывала этих двоих задолго до того, как Алия впервые переступила порог Академии.

Она незаметно отступила на полшага назад, будто пытаясь спрятаться в тени колонны, которая стояла рядом. Её серебряное платье, ещё минуту назад казавшееся ей роскошным доспехом, вдруг показалось просто мишурой, красивой, но бесполезной против настоящего, векового холода. Язык логики и бухгалтерских отчётов, который помогал ей выживать в этом странном мире, в этой сфере был бессилён. Здесь были другие правила игры, другие ставки, другие игроки. И Алия только что осознала, что даже не знает, как в неё вступить.

Пока Алия пряталась в тени колонны, церемониальные приветствия наконец завершились. Воздух дрогнул, и полилась музыка – нежная, сложная, сотканная из звуков ледяных колокольчиков, шороха снега и далёкого воя выюги, искусно обработанного в мелодию. Это была музыка, которую можно было не слышать ушами, а чувствовать всем телом – каждой косточкой, каждым нервом, каждой клеточкой. Она проникала в самую глубину, заставляла вибрировать позвоночник, отзываться сердце, и в этой вибрации, в этом отклике было что-то первобытное, древнее, то, что жило в крови задолго до того, как появились слова, имена, истории.

Начались танцы.

Здесь царила странная смесь придворного этикета и древних обычаев. Девушки с уверенностью охотниц приглашали кавалеров, парни отвечали с почтительными поклонами, и в этом обмене жестами, взглядами, движениями был целый язык – язык, на котором говорили те, кто привык договариваться не словами, а телами, не договорами, а ритмом, не протоколами, а музыкой.

И ледяная красавица, дочь Зимы, чьё имя Алия так и не расслышала, но которое, как она подозревала, было таким же древним и холодным, как сама её мать, направилась напрямик к Святомиру. Её движение было подобно скольжению айсберга по воде – неотвратимо и холодно. Она не шла – она плыла, едва касаясь ледяного пола кончиками туфель, сотканных из инея и лунного света, и каждый её шаг был отточен, выверен, безупречен. Она остановилась перед ним, и её взгляд, синий, как ледниковая глубина, поднялся к его лицу, застыла на секунду, а потом опустила, и она протянула руку – не с просьбой, а с тихим, уверенным ожиданием.

Святомир смотрел на эту руку, как на разрыв-траву. Его лицо, обычно суровое, было непроницаемо, но Алия, стоявшая в тени колонны, видела, как напряглись его плечи, как сжались кулаки, как челюсть стала твёрже, будто он готовился к удару. Он сжал свою ладонь в кулак, кашлянул в него, и этот кашель, короткий, сухой, прозвучал в тишине, которая воцарилась вокруг них, как выстрел.

– Кхм. Не танцую, – сказал он, и его голос был глухим, недовольным. – Слишком неповоротлив для таких тонкостей.

Девушка звонко хихикнула, и звук был похож на треск ломающегося льда – красивый, чистый, но в нём было что-то, от чего у Алии по спине пробежали мурашки.

– Полно тебе скромничать, Святомир, – сказала она, и в её голосе, холодном и музыкальном, слышалась насмешка, но не злая, а скорее игривая, как у кошки, играющей с мышью, которую не собирается отпускать. – Я же знаю, сколько в тебе и ловкости, и силы. Потанцуем. Не заставляй гостью просить дважды.

Они смотрели друг на друга: он – как на тактическую помеху, на врага, которого нужно обойти, но нельзя атаковать, потому что он под защитой дипломатического иммунитета; она – как на интересное препятствие, на задачу, которую нужно решить, на головоломку, которую нужно разгадать. Молчание затянулось. В зале стало тихо – так тихо, что Алия слышала, как

бьётся её сердце, как скрипит снег под ногами танцующих, как далёкая выюга в музыке затихает, ожидая.

И он, с едва заметным вздохом, почти неразличимым под музыку, принял её руку.

Его пальцы сомкнулись на её ладони – грубые, шершавые, в старых шрамах, которые помнили не одно сражение, не одну границу, не одну потерю. Её пальцы были тонкими, прозрачными, как лёд, и когда они коснулись его кожи, Алия увидела, как по его руке пробежала дрожь – не страха, не отвращения, а чего-то иного, что она не могла назвать.

Он пошёл за ней, и его движения были не грубыми, но удивительно скованными для его мощи. Он двигался так, как двигается медведь, которого заставили танцевать, – с достоинством, с силой, но без той природной, звериной грации, которая была в нём, когда он сражался. Это был не танец, а тактическое сопровождение – он следил за её движениями, за её взглядом, за каждым её жестом, как следят за противником на поле боя, готовясь к любому развитию событий.

Алия наблюдала, чувствуя, как её сердце сжимается в холодный комочек. Она смотрела, как его рука лежит на талии ледяной девы, как их тела движутся в такт музыке, как её серебряный костюм и его тёмный мундир сливаются в кружении, и в этом кружении было что-то такое, от чего ей хотелось закрыть глаза, отвернуться, уйти, исчезнуть.

За её спиной возникло присутствие – плотное, тёплое и несокрушимое, как сама земля. Она узнала его, даже не оборачиваясь. Узнала по тому, как воздух вокруг неё стал тяжелее, плотнее, будто наполнился невидимым камнем. Узнала по тому, как запах духов, цветов и свечей вдруг перебил запах малахита и глубинной, подземной сырости. Узнала по тому, как её тело само выпрямилось, плечи расправились, подбородок поднялся.

– Кто не действует, тот ничего не получает, – прозвучал низкий, мерный голос Хозяйки Медной Горы. – Стоять в тени – удел гальки, а не самоцветов.

Алия вздрогнула и обернулась, поклонившись. Её поклон был глубоким, почтительным, но в нём не было страха – только уважение к той, кто дал ей этот дом, этот статус, эту защиту.

– Здравствуйте, Госпожа, – сказала она, и её голос, вопреки ожиданию, не дрогнул. – Я... просто наблюдаю за протоколом.

Хозяйка Медной Горы стояла в своём обычном, неброском, но бесконечно дорогом платье цвета малахита, которое, казалось, было вырезано из цельного куска камня, но при этом струилось, как шёлк, облекая её фигуру с той идеальной, нечеловеческой точностью, которая бывает только у вещей, созданных не руками, а волей. Она не глядя на Алию, провела пальцем по одному из камней в своей многослойной нити бус – длинной, тяжёлой, в которой перемешались все оттенки зелёного, от бледного, как молодая листва, до тёмного, как глубины подземных озёр.

И тут же платье Алии отозвалось.

Тёплый, живой свет пробежал по серебряной ткани – не холодным блеском, а глубоким, внутренним сиянием, будто в него вдохнули жар земных недр, тот самый жар, что плавит камни и рождает металлы. Ткань, ещё минуту назад казавшаяся просто красивой, стала другой – властной, живой, дышащей. В её складках, в её переливах, в том, как она лежала на плечах Алии, вдруг проступила сила – не та, что даётся статусом или одеждой, а та, что идёт изнутри, из самой сути, из того, кто ты есть и кем ты становишься.

Алию мягко, но неумолимо вытолкнули из-за колонны лёгким движением воздуха, пахнущим камнем и металлом. Это было не физическое прикосновение, а скорее воля, ставшая ветром, – неумолимая, как движение тектонических плит, и неошутимая, как дыхание.

– Иди, – сказала Хозяйка Горы, и в её голосе не было ни приказа, ни просьбы – была только констатация того, что должно произойти. – Бери то, что по праву может стать твоим. Или хотя бы заяви права, чтобы другие знали.

Прежде чем Алия успела опомниться, к ней уже подходил один из «молодых медведей» зимней делегации.

Он был высок, широк в плечах, и в его голубых глазах, таких же холодных, как глаза его сестры, но почему-то совсем других, светился не лёд, а любопытный, почти горячий интерес. На нём был белый костюм, расшитый серебряной нитью, но в отличие от своих спутников, он носил его с какой-то особенной, небрежной элегантностью, будто не костюм был на нём, а он был в костюме, и костюм был лишь частью его, такой же естественной, как кожа или волосы. Его светлые, почти белые волосы были слегка растрёпаны, и в этой растрёпанности, в этой лёгкой небрежности было что-то мальчишеское, живое, что резко контрастировало с ледяным совершенством его сестры.

– Вы сияете, как единственная звезда в полярную ночь, – сказал он с акцентом, который делал его речь тягучей, музыкальной, похожей на скрип снега под полозьями саней. Его голос был низким и приятным, с той особенной, бархатистой хрипотцой, которая бывает у тех, кто привык говорить на ветру, в мороз, когда слова замерзают на лету, но, оттаяв, звучат особенно чисто и звонко. – Осмелюсь ли пригласить?

Он протянул руку – широкую, сильную, с коротко стриженными ногтями и тонким, едва заметным шрамом на тыльной стороне ладони, который, как знала Алия, могли оставить только ледяные когти. Рука была тёплой – удивительно тёплой для того, кто пришёл из страны вечного холода, – и в этом тепле было что-то, от чего Алия на секунду забыла, где она и кто она.

Протокол, страх, ревность – всё смешалось в ней в один тугой, горячий комок, который, казалось, вот-вот разорвёт её изнутри. Она видела краем глаза, как Святомир, всё ещё кружащий с ледяной девой, напрягся, как его взгляд, серый и острый, метнулся к ней, как в его глазах вспыхнуло что-то, чего она никогда не видела раньше, – не гнев, не ревность, а что-то более глубокое, более древнее, то, что не умело ждать и не терпело конкуренции.

И Алия, всё ещё под импульсом, данным Хозяйкой Горы, под тем неумолимым, каменным «иди», которое звучало в её крови громче любой музыки, автоматически улыбнулась и протянула руку.

– Осмелитесь, – сказала она, и её голос прозвучал ровнее, чем она ожидала.

И музыка поглотила её.

Её партнёр был умен и силен. Он вёл уверенно, без той мужской напористости, которая бывает у тех, кто привык командовать, но и без той робости, которая выдаёт неуверенность. Он чувствовал ритм, чувствовал её тело, чувствовал ту тонкую, невидимую грань между танцем и полётом, между движением и музыкой. И она, к своему удивлению, не путалась в шагах. Её тело, натренированное Святомиром на выносливость и координацию, натренированное Уху на умение слушать и чувствовать, натренированное Полуденницей на умение быть частью природы, нашло ритм. Ноги скользили по льду, платье струилось за ней серебряным шлейфом, волосы, уложенные в тяжёлую причёску, казалось, стали легче, светлее, воздушнее.

Но краем глаза, в вихре движений, в кружении пар, в мелькании белых и тёмных силуэтов, она чувствовала на себе тяжёлый, как удар кулаком, взгляд. Святомир. Он кружил с ледяной девой, его лицо было непроницаемо, его движения – безупречны, но его глаза, серые и острые, были прикованы к ней. И в них читалось не просто недовольство – в них была глухая, яростная ревность, смешанная с предостережением. «Что ты делаешь? С кем ты танцуешь?»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.